

Тимофей Шерудило

ОЧЕРКИ О ЧЕЛОВЕКЕ

2005, 2021

18+

Тимофей Шерудило

Очерки о человеке

«Автор»

2026

Шерудило Т. А.

Очерки о человеке / Т. А. Шерудило — «Автор», 2026

По словам С. Л. Франка: «прекрасное обозначение психология — учение о душе — было просто незаконно похищено и использовано, как титул для совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что, когда теперь размышляешь о природе души, о мире внутренней реальности человеческой жизни, как таковой, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным». Книга посвящена этому безымянному делу.

© Шерудило Т. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие 2023 года	5
I. Доброе и злое	6
Личная нравственность	8
Зло в мире	11
Правда и красота. Человеческая природа	14
Наслаждение	15
Дух и религия	18
Мораль и современность	23
II. Творчество. Искусство. Мысль	26
Вдохновение. Творчество	27
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Тимофей Шерудило

Очерки о человеке

Предисловие 2023 года

О Девяностых годах до сих пор спорят. Для одних это «святое время», для других — проклятое десятилетие. В любом случае это время, давшее огромную пищу уму. Слом одних установлений и установление других, путаница в мыслях и делах, огромное (и до сих пор непереваренное) западное влияние на понятия и способы их выражения, новые поводы для проявления человеческой слабости и подлости — всегда в изобилии предоставляемые революциями... Неудовлетворительность всего «советского» в области мысли была очевидна и прежде 1991 года. Но не менее неудовлетворительным было животное, если не сказать хищническое мировоззрение, насаждавшееся в России при новом «либеральном» правительстве. Мыслящему наблюдателю было о чем задуматься.

Надо заметить, что мысль была как-то особенно противоположна первой послесоветской эпохе. «Это у вас всё мысли, — доводилось слышать в те годы автору. — Мысль уместна в *комментарии к ситуации*, в *ситуации комментария*, и только; зачем нашему читателю столько мыслей?» Оставляя в стороне кургузый жаргон, неспособный выразить простейшее понятие без слов смутного значения и иностранного корня, которые иначе как паразитами назвать нельзя, надо признать: освободившаяся Россия мыслей не любила, да и сейчас живет одними рефлексам. Только ими, замечу в скобках, и можно объяснить всеобщее ныне желание вернуться ко временам позднего «нового порядка».

Впрочем, не один только политический и культурный порядок Девяностых годов вызвал к жизни эти очерки. Наравне с ним я бы назвал т. н. «единственно-верное», т. е. «научное» мировоззрение наших дней — нам в России доставшееся по наследству от советского «нового порядка», на Западе имеющее несколько иные, но также левые корни. Это механистическое мировоззрение можно назвать упрощенным, выхолощенным картезианством, картезианством без Духа. В практическом применении оно грозит полной утратой способности понимать и истолковывать человека.

Впрочем, притязательных (и трещащих по швам) «единственно-верных», «научных», мировоззрений в наше время хватает. Однако во времена, когда общепринятые истины распадаются и прежние боги не защищают — неизбежно желание построить новое понимание вещей с самого начала, от основания. Новое философское понимание вещей не может, не должно при начале своем трактовать о «первых и последних вещах», строить системы. Мыслителю прежде всего доступны ближайшие вещи: его душа, страсть, творчество, судьба. Такое построение не может быть последовательным, не может быть стройным. Когда-нибудь на его основе появится и новое мировоззрение, может быть и более последовательное. Прежние карты действительности оказались неточными; принятые в наши дни — не лучше. Следовательно, нужно хотя бы набросать очертания берегов, какими они видятся мыслящему наблюдателю. Опыт покажет, насколько верна эта карта.

2023

I. Доброе и злое

Что видит человек, заглядывая в свою душу? Прежде всего — переживания совести, не мысли даже, но ощущения доброго и злого. Некоторое представление о нравственности нам присуще изначально. Вопросами добра и зла душа задается совершенно независимо от влияний внешнего мира. В наши дни говорить о морали и не принято, и опасно.

Однако как бы мы ни пытались избавиться от морали, как бы мы ни хотели ее утопить, она всё равно выныривает в конце, в качестве последствия наших действий. В морали видят какое-то личное оскорбление, но ее значение совсем не в «вот что я думаю о тебе», но в «вот к чему приведут твои поступки». Мораль есть учение о последствиях наших дел. Потому-то моралистов и побивают камнями. Потом, конечно, плачут, но зато сохраняют самоуважение и не оскверняют свою душу раскаянием. «Я не могу, — говорит современный человек, — позволить себе стыдиться, потому что стыд сделает меня менее сильным, и к тому же зависимым от тех, кто научил меня стыдиться». И чтобы не сомневаться в себе, такой человек гонит прочь совесть и тех, кто о ней говорит. И вера в Бога исчезает одновременно со способностью сомневаться в себе... и на знамени человечества пишутся два слова: сила и гордость.

Что такое мораль? Сплав представлений о желательном и запретном, иными словами — о здоровом и больном. Мораль разделяет человеческие желания на достойные и не достойные удовлетворения; без признания недостойности иных желаний ее нет. На известной ступени развития последовательно проведенный «либерализм» (за отсутствием лучшего слова будем так называть приверженность к свободе ради нее самой) исключает саму возможность существования морали, и на современном Западе эта ступень уже достигнута. Все желания признаются равно «естественными» и достойными, и главной задачей становится охрана человеческой личности от ограничений ее права желать и добиваться желанного. Свобода оказывается бескачественной ценностью, безвоздушной средой, в которой, не встречая себе сопротивления, скользят желания... Поощряется безудержное и ненасытное формообразование — при полном небрежении содержанием, тогда как мораль, с ее запретами и побуждениями, способствовала в первую очередь выработке богатого и сложного содержания (чтобы не вдаваться в долгие объяснения — уже потому, что пресекала все простые и низменные поползновения). Упразднение морали привело к обвалу содержания и бережной охране опустевшей формы. В словах «свободная личность» ударение поставлено на «свободе», «личности» же может не быть вовсе. Взгляд на общество как на охраняемое законом разнообразие всё более пестрых форм напоминает восторг исследователя перед какой-нибудь «восхитительной плесенью», да, пожалуй, имеет с ним один корень: это то же учение Дарвина о бессознательно развивающихся формах, примененное к обществу. Цениться начинает даже не сама форма, но та стремительность, с которой формы меняются и распространяются; не случайно ключевое слово современного общества — пресловутая «динамичность». Свобода верить и трудиться, о которой пеклись наши предки, оказалось свободой атомов, правом на хаотическое кружение. В этом безумии, однако, есть своя последовательность. Несколько столетий назад борьба шла именно за право выражать определенные содержания; со временем положительная цель забылась, осталось только требование свободы самовыражения как таковой. Спорили-то о человеческом достоинстве — а пришли, пользуясь словами Достоевского, к «праву на бесчестье». Сам предмет спора исчез. Речь шла об иных путях образования высшего человека, а не об отказе от идей роста и самоограничения, а пришло к противоположному: к освобождению от всяких ограничений, от самой тяги к высшему. Мы еще не осознали, что не просто пожертвовали нравственностью ради свободы — это, пожалуй, кое-кто сознаёт, — но ради свободы мы пожертвовали духовным ростом поколений и всем будущим человечества. Освободив лич-

ность от нравственных конфликтов, мы краткосрочное животное благополучие масс предпочли долгому и трудному росту.

Существует ли нравственность в мире, или это некоторая внутренняя иллюзия, присущая исключительно нашей душе? На этот вопрос есть разные ответы. Я бы сказал, что в мире присутствует тонкий, трудно уловимый, но наблюдаемый нравственный порядок. По меньшей мере можно сказать, что правда и красота более долговечны, чем безобразие и ложь, и если не обеспечивают своим сторонникам немедленной и постоянной защиты космических сил, то несомненно влияют на жизнь деятелей и долговечие их поступков. Только то долговечно, что основано на правде. Обратное доказать невозможно. Ложь наказывается быстро, так быстро, что уже дети наблюдают, как рушится дело отцов. Весь вопрос в том, как мы понимаем этот нравственный миропорядок. Материалист мог бы сказать, что устройство человеческого ума предопределено от начала веков, что он может мыслить только так, как он мыслит — в общем, в плане мироздания предопределено всё, и наши ценности также. Такое возражение вполне возможно, однако материалист, который его выскажет, будет плохим материалистом. Сказать, что нравственный закон сопрiroден вселенной и впечатан в нее с самого начала времен — значит оказать дурную услугу материализму с его твердым неприятием каких бы то ни было невещественных ценностей; такого материалиста закидали бы камнями... хотя нечто подобное, надо признать, уже говорится — на что только не идут, чтобы обойти ужасный, неприятный вопрос о Боге и высших ценностях.

Личная нравственность

Поговорим о нравственности, как она проявляется в повседневной жизни. А ей, вопреки господствующему мнению, есть место повсюду. Стыд солгавшего я ставлю выше бесстрастной правдивости, потому что стыд обладает свойством толкать дальше. Нравственное состояние стыдящегося вызывает меньше опасений, чем бесстыдная добродетель... Даже соблазнитель всегда ищет непорочности, чтобы ее соблазнить, тем признавая, что только существование невинности придает им цену. Нравственная порча теряет ценность, если не является состоянием исключительным и преследуемым. Однако нельзя больше считать невозможным и то состояние, когда несоблазненных больше не останется. Что тогда будет делать бесстыдство? Вероятно, от скуки начнет стыдиться.

Наше время, да и любое другое, вероятно, враждебно к несоблазненным. Нежелание следовать общераспространенным порокам и добродетелям вызывает неприязнь толпы. Праведник — то лицо, которое не делит с толпой «ни хохота, ни рева»; то же лицо при других обстоятельствах называется грешником. Следование совести — обыкновенно вызов обществу, но даже и не быть совершенным, а только другим, — в глазах большинства преступно. И как примирить с этим воспитание детей, задача которого как раз научить ребенка быть другим, т. е. собой (потому что «я» — всегда «другой» по отношению ко всему, что «не я»).

Что такое доброта? Доброта как нравственное качество есть сила без жестокости. Где нет силы, нельзя говорить и о доброте; она проявляется только в действии; бессильный не действует. Противопоставление силы и доброты бессмысленно, потому что подразумевает непременно злую силу. Историческая судьба добра вовсе не поражение. Только оно и обладает свойством накапливаться в поколениях, а вот у зла нет прошлого, оно всегда вполне современно. Можно сказать, что зло человек находит готовым, а добро нет.

Распутство стремится к проповеди и обращению едва ли не больше, чем добродетель. Распутнику всегда одиноко и не по себе, пока рядом с ним есть чистота. Он успокаивается только когда все сравнивается с ним и исчезает хотя бы тень сравнительной оценки. Вообще говоря, всякое большинство знает, что отказывающийся, уединенный всегда нравственно выше, и потому так его преследует. Отказываться трудно, а потому и нравственно, по той же причине нравственен подвиг как преодоленная трудность. Естественная человеческая склонность не отказываться, но соглашаться. Однако отказ сам по себе не высшая нравственная ценность, но только мера нравственной годности.

Говоря о нравственных суждениях, надо заметить, что к нравственным суждениям, а больше осуждениям, наиболее склонна не святость, а нравственная середина, посредственность. Вполне нравственных людей, как и совестливых грешников (из которых, впрочем, и вербуются нравственные люди, потому что о нравственности можно говорить только применительно к тому, кто знал искушения; дети, скажем, чисты, но не нравственны), мало; большинство составляется людьми умеренных пороков. Зато это умеренное большинство сурово судит.

И судит зачастую ложно. «Хорошим» называется человек, которого поступки несложны для понимания. Обладание определенным талантом весьма трудно совместить с именем «хорошего человека», и чем больше этот талант, тем больше будет сомнений у оценивающих и истолковывающих. Внутренняя сложность личности препятствует, видите ли, легкому пониманию ее душевных движений. Чтобы быть «хорошим», нужна достаточная внутренняя несложность, даже неискушенность. Всякое новое знание о человеке, вроде того, каким нас обогащают Пушкин или Достоевский, или причиняет вред душе познающего, или тяжело для нее, но во всяком случае лишает ее невинности и права называться «хорошей».

Святой укоряет себя за всё, ребенок — ни за что. Обычная нравственность находится между ними, но по-настоящему в нравственной области хороши только крайности. Средняя

нравственность, с ее способностью к бесконечному растяжению и вечным нарушением заповедей: «да не последуешь за большинством на злое» так же неприятна, как горделивая «праведность», которую часто смешивают со святостью, ее противоположностью: вместо того, чтобы укорять себя, «праведник» укоряет других. Вообще нравственный уровень человека определяется его неумением чувствовать себя жертвой и делать жертвами других. Человек высоких душевных качеств страдает больше других, но при этом не чувствует себя самым несчастным, и притом, насколько это возможно, не делает несчастными окружающих. Дети видят признак мужественности в умении «не жаловаться»; нравственность также есть умение страдать — и не жаловаться, ходить во тьме — и светить другим.

И есть две нравственности: добровольная и принуждаемая. Нравственность добровольная и принуждаемая сильно разнятся в цене. Однако человек весьма часто бывает слишком высоко развит для того, чтобы быть нравственным по принуждению, и недостаточно — чтобы быть нравственным добровольно. Здесь область свободы и наибольших мучений; пути назад, в мир принудительной нравственности и добровольных пороков, из нее нет. О человеке, находящемся здесь, восклицал ап. Павел: «чего желаю, того не делаю; что делаю, того не желаю; о, кто избавит меня от тела смерти сего?!»

Добро ли быть нравственным? Есть ли польза от правды? Неправда наказывается, но и правде негде приклонить голову. Будь лжецом, и тебя накажет Бог; будь пророком, то есть слугой правды, и тебя накажет мир. Только равноудаленная от правды и лжи середина может быть безмятежна, но тот, кто выбирает служение, выбирает и наказание: служа одному, он понесет наказание от другого. Следует сказать: чем больше правды вмещается в данную жизнь, тем менее она безмятежна. Пророков побивают камнями; поэтов теснят со всех сторон; но кто больше достоин жалости — они или те, кого не били камнями и никогда не притесняли?

Не те поступки морально хороши, за которые нам дадут награду, а те, которые делают нас лучше. Нравственность, таким образом, неопределима логически, то есть не нравственность даже, а добро: оно непроизводно и ни через что постороннее определено быть не может. Попытки обосновать нравственность через «разумный эгоизм», «счастье большинства» или даже «неделание глупостей» (что мне кажется совсем уж глупым) провалились, и получилось, что в сегодняшнем мире она не обоснована ничем. Собственно говоря, у человека более нет оснований быть хорошим. От него, однако, требуют уважения к государственной власти, семье, обществу и собственности, и это единственные основания нравственности, какие у него остались. «Делай, что хочешь, но только плати налоги!», так можно выразить эту служебную нравственность. Недостаток этой морали в том, что она имеет исключительно сдерживающую силу, и то в узко ограниченной области; она кое-что запрещает, но ничего не поощряет, да и запрещает она только явные, т. е. общественно наказуемые поступки. В сущности, эта мораль охраняет общество, но не душу, тогда как настоящая мораль печется прежде всего о душе.

Свобода и совесть — связаны ли они? Трудный вопрос. Полушутя, полусерьезно можно сказать, что в аду каждый черт пользуется полной свободой и вполне независим от других. Мораль одиночки, правда, может быть как демонического, так и противоположного свойства — т. е. из одних и тех же оснований одиночества и невовлеченности можно сделать различные выводы. Нравственность всё-таки не следует из общественного устройства, но положение личности в обществе влияет на ее нравственный выбор. Наши поступки свободны, но возможности ограничены обстоятельствами. Совершенная независимость личности, нравственная и хозяйственная, о которой раньше могли только мечтать, стала возможной, и открыла перед личностью либо путь высшего развития, средства к которому даются такой независимостью, либо путь крайнего эгоизма, «жизни для себя», поощряемой к тому же современным обществом — путь демонический.

Зло — не отвлеченное слово и не юридическое понятие. «Зло» есть то, что вредит творящему. Только мелкая душа может быть дурной без вреда для себя. Человека одаренного

зло непременно приводит к неудаче в делах или внутренней неустойчивости. Со злодейством совместим только гений низшего порядка, какая-нибудь необыкновенная умственная способность, развившаяся помимо души. С другой стороны, настоящее зло добровольно. Быть злым значит обладать ценностью, но ложно ее направить; противоположностью злу является не добро, а правда.

Человек, потерявший свою душу или идущий к ее потере, опасен тем, что для него в этом мире уже нет благ, ни в чем он не находит удовлетворения и нуждается только во всё более и более острых раздражителях, которые ему заменяют утраченные ощущения радости и полноты бытия. Потеря души есть именно состояние потери благ и ценностей, когда ничто уже не радует, не тревожит и не манит; жажда без утоления. В этом состоянии рождается новый, совершенно особый взгляд на страдание, который современность и внушает человеку. Его учат с любопытством смотреть на чужую боль и в то же время ожидать себе всяческих удовольствий, даже больше: его учат тому, что «удовольствие» — всегда мое, а «страдание» — всегда чужое. Это совсем не «простой», совсем не «естественный» взгляд. Его единственное достоинство, если так можно сказать, только в том, что он противоположен христианскому взгляду; он, в сущности, есть то, что христианин безошибочно и сразу назовет дьявольским взглядом на вещи. «Удовольствие — мне, страдание — другим». К этому человека хотят приучить, причем дальше всего по сему пути продвинулись в тех частях света, которые до сих пор говорят о своей приверженности свободе; однако свобода эта, как кажется, есть свобода без совести, то есть — такова арифметика нравственности — чистое зло. Есть в этой области и совсем другой образец: Христа, для Которого не было чужих ран. Развить в себе всемирную, всечеловеческую отзывчивость, при которой раны человечества становятся личными ранами, значит предельно приблизиться ко Христу. Достоевский обладал этой отзывчивостью, потому и указывал на нее как на отличительную черту русского человека... Но такая отзывчивость приносит душе много горя. Боль и здесь, как и везде, является платой за высшие способности.

Зло в мире

Итак, зло и заблуждение деятельно участвуют в человеческой истории. Нет никакой границы, предела, положенного заблуждениям, вопреки общепринятой вере в «прогресс» и «разум». «Эпоха разума» означает: «заблуждений больше не будет». Некогда к этому прибавляли: «и зло теряет силу». Ведь были уверены, что зло — от нежелания подчиняться разуму. Теперь так не говорят, п. ч. знают, что разум не защищает от зла, напротив, охотно служит ему... Но в прекращение заблуждений, в непогрешимость ума всё еще верят. Истина, однако, в том, что зло и заблуждение не уйдут из истории никогда, и необходимость различения зла и лжи не упразднится тоже. Довольно детски думать, что начиная с определенного возраста человек становится непогрешимым в суждениях. Однако европейское человечество верит в непогрешимость своих суждений: самоуверенность подростка! Никогда, я говорю: никогда зло и заблуждения не уйдут из истории, и всегда на личности будет ответственность различения добра и зла, как бы хорошо и разумно ни было обосновано это зло. Даже иначе следует сказать: нет, не было и не будет ничего такого, перед чем можно было бы преклониться, как перед истинной, только потому что таково мнение римского епископа, святой и соборной Церкви, «мировой науки» или самого «разума». Никакая наука, никакой «прогресс» никогда не освободят человека и целые эпохи от способности избирать ложные пути и злостно заблуждаться.

«Зло» — не слишком сильное слово; не мера нетерпимости судящего. Отказ от определенных суждений в области добра и зла только вначале выглядит примиряющим. Благодушная терпимость рано или поздно переходит в прямое потворство злу. Бесспорно, только добро обладает созидательной и оплодотворяющей силой; только добром держится всякое людское дело, желающее быть долговечным; но добро действует исподволь и постепенно, т. к. не ищет власти и не себялюбиво; зло же — и об этом сторонники «терпимости» забывают — нуждается в немедленном успехе, в силе и власти здесь и сейчас. Чтобы быть нравственным — скажу иначе (современность боится этого слова): чтобы не увидеть растления своих детей, нужна известная доля нетерпимости к дурному, по меньшей мере упрямства.

Откуда уходит свет, там тотчас же, без всяких усилий с нашей стороны, наступает темнота. Зло расширяется насколько возможно, заполняя пустые места, оставленные добром. Нет ничего «безразличного». Либо свет на страже, либо на его месте тьма. Последовательное изгнание из культуры света и замена его исключительно прикладными ценностями приводит к постепенному затемнению общества, к страшным сумеркам. Даже злостные подделки высших ценностей, надо заметить, обладают защитной силой. Важно не направление, в котором они уводят дух, но напряжение, какое они ему сообщают. Даже заблуждения ума и сердца лучше их сытого бездействия. В душе, наполненной мыслью и страстью, злу труднее найти себе место.

Сатана (или, если хотите, зло) принимает деятельное участие в событиях этого мира, и его победа гораздо ближе и возможнее, чем казалось еще сто лет назад. Удивляться, вообще-то говоря, нечему: деятельность зла в мире не была тайной и для наших далеких предков. Удивительно другое: то, что Зло не понимает, что его победа на земле будет означать неудачу, неуспех и впоследствии гибель человеческого рода. Оно в силах победить, но не в силах воспользоваться победой. Вот что вызывает удивление у трезвого наблюдателя козней зла. Не только не тайна, но просто очевидно, что окончательный отрыв человека от божественного, т. е. от его вечных корней, приведет его к упадку и окончательному падению, однако зло упрямо добивается этой цели, не сознавая того, что поработанное человечество недолго будет его радовать своей покорностью. Вероятно, таково общее правило: зло изощренно, но недальновидно. Победа для него — самодовлеющая ценность, ради которой всё дозволено, и на пути к этой победе зло неодолимо, однако ни удержать ее, ни воспользоваться ей оно неспособно. Если таково общее правило, то даже в самых крайних обстоятельствах у нас остается еще надежда.

Можно сказать и так: добро уже есть, а зло только ищет воплотиться. У него есть только жажда бытия, которую оно никак не может утолить. Слабое и угрожаемое, бессильное и безоружное добро твердо стоит в мире: ему служат, для него поют в церкви, оно говорит в душах поэтов: всё, что ни делается со всей душой и всем сердцем — делается для него. Как не позавидовать! Разве для зла когда-нибудь пели или мечтали? Не имея сил быть, зло заимствуется отраженным светом. Если мы определяем добро как неразрывную правду и красоту, то во зле эта связь непоправимо разорвана и ни при каких обстоятельствах не может воссоединиться. Зло может взывать к нашему чувству прекрасного — но при этом силой вещей обязано бесстыдно лгать; оно может и говорить правду, но дела его будут обречены на безобразие. В этом последнем случае, однако, ему приходится пользоваться тщательно отобранной правдой, и непрестанно внушать массам, будто только безобразное и может быть правдиво, а правда — всегда безобразна. Впрочем, зло проделывает то же самое по отношению к красоте, уверяя, что красота всегда вневременна, если не безнравственна, а всё нравственное — пресно, пошло и скучно, придавая, таким образом, аморализму вид стремления к красоте... В общем, путь зла есть путь постоянных подмен.

Зло накатывает приливами, и натиск его кажется неодолимым, но при всей видимой силе зла — на земле оно бесследно. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание», но у зла нам нечему научиться, и если добро обладает историей и прошлым, то зло всегда сейчас, и его сходство с бывшим прежде — слепое повторение, не признак наследственности и родства. Проследить в истории можно только благие влияния. У каждого народа и эпохи свое зло, ни предков, ни потомков не имеющее. Но за эту беспочвенность и бесследность оно наделено страшной силой. Добру дана вечность, но (и потому!) его легко, на время или надолго, вытеснить с земли. Зло призрачно, всё бытие его — здесь и сейчас, от восхода и до заката солнца, но (и потому!) оно беспощадно в нападении и отчаянно в обороне. «У меня есть вечность», говорит Добро и отступает в тень. «У меня есть только один день», говорит себе Зло и уверенно наступает, чувствуя за спиной холод и пустоту.

Угрожаемое зло, в отличие от добра, предпочитает обороняться до последнего. Добро может сдаться, хотя бы потому что не верит в возможность своего конечного поражения; а вот злу, кажется, кое-что о такой возможности известно, и защищается оно отчаянно. Во все времена выступления против добра оканчивались большим успехом.

Зло испытывает постоянную потребность в самозащите, то и дело переходящей в нападение. Собственно, этим оно и определяется. Потребность в самозащите, переходящей в открытое нападение, — первый признак зла вообще. Добро беззащитно, обороняется нехотя и не нападает первым. Метафизик сказал бы, что злом движет воля к прижизненной победе, питаемая уверенностью в том, что будущей жизни у него не будет; добро же, — сказал бы такой метафизик, — верит в жизнь вечную и не боится прижизненных, то есть временных, испытаний.

К встрече со Злом мы готовы меньше, чем какое бы то ни было из предшествующих поколений, прежде всего потому, что мы — в большинстве своем — не допускаем его существования, не верим в сатану, и, сталкиваясь с непосредственными его делами и слугами, недооцениваем угрозу. То, что было самоочевидно для Средневековья, нам кажется невероятно; мы готовы видеть только злонамеренность отдельных лиц там, где речь идет о чем-то гораздо более глубоком. В сущности, мы верим в то, что человек добр по своей природе, что никто не совершает зла по своей воле, но только по вине недостатка просвещения и неблагоприятных обстоятельств — даже если мы никогда не читали Руссо и Маркса. Мы несносные и безудержные оптимисты относительно человеческой природы, и это очень плохо, т. к. именно нам — и еще больше нашим ближайшим потомкам — приготовлена встреча с сознательным и сильным злом. Мы же привыкли считать, что человек добр, но может прийти к дурным мнениям, которые сделают его опасным... Зло, таким образом, мы видим только во мнениях, в мыслях, тогда

как оно лежит глубже — в области духа. Зна́мения этого рода мы умеем различать, пожалуй, хуже, чем иудеи времен Христа, о которых сказано: «лицо неба вы умеете различать, а лицо времени от вас скрыто». Печальная и бесспорная истина: либо признавать Бога, либо сатану, ибо «нельзя служить двум господам» — нам недоступна. Мы надеемся найти теплое место где-то между борющимися сторонами, где можно было бы жить в свое удовольствие, наслаждаясь как блеском солнца, так и игрой теней — смотря по настроению, но такого места нет. Как бы мы ни хотели быть одни (а к уединению и силе и сводится мечта новейшего западного человечества, совсем как у Подростка в романе Достоевского), с нами всё равно будет кто-то другой.

Правда и красота. Человеческая природа

Есть связь между чувством правды и чувством красоты, в силу которой высокое прекрасно, а прекрасное высоко. Эстетика неотделима от нравственности. Часто думают, что нравственность привременна и зависит от места, то есть не может быть чему-то мерой, но нравственность и не является мерой красоты. Я утверждаю только, что уровни красоты и нравственности понижаются и повышаются одновременно; перемена в одном означает перемену в другом. С другой стороны, в отношениях с совестью ценятся не ее точные указания, но готовность им следовать.

Здесь важен вопрос: может ли совесть вдохновляться безобразным; возможна ли нравственность, основанная на уродстве? Его легко отвести, указав, что и прекрасное, и нравственное, и дурное, и безобразное не могут быть определены иначе как через человека... но я подозреваю, и этим подозрением питается религия со дня своего возникновения, что если не нравственное, то прекрасное в своем существовании от человека не зависит. От общественных или половых отношений можно пытаться произвести совесть, но не красоту. Она вопиюще бесполезна обществу или полу, хотя для чувства красоты и бывает благоприятна праздность, свойственная богатству, или чуткость, которую дает любовь.

Почему так важны эти вопросы? Зачем нам знать причины нашего восприятия правды и красоты? Затем, что неверными объяснениями причин поступков уничтожаются сами поступки. Объяснение высших душевных явлений через низшие побуждения прекращает сами эти явления. Кто будет благороден, если благородство — только хорошо скрытая гордость? Кто будет щедр, если щедрость — только покров стяжательства? Проще уж быть откровенно гордыми и себялюбивыми... Ложные объяснения человеческой природы опасны тем, что со временем развращают объясняемого. Его поведение искажается настолько, что наконец начинает соответствовать своему объяснению; вообще поведение человека и общества чаще всего соответствует господствующему мировоззрению, то есть способу объяснения вещей. Иначе говоря, объяснения человека и общества получают в определенных обстоятельствах принуждающую силу; я бы сказал — чем они проще, тем больше; так что следует быть весьма осторожным, предлагая новое всеобъемлющее решение загадки человека. Несложно растлить общество, предложив ему ложный взгляд на себя.

Однако стремясь к правде и красоте, мы вынуждены признать, что в целом ряде вещей к правде и красоте присоединяется какой-то трудноопределимый яд — а мы всё равно продолжаем их желать. Этот вопрос томил Льва Толстого; Толстой даже думал, будто «разрешил» его: через отсечение соответствующих желаний и отказ видеть правду и красоту в предмете этих желаний. «Это гадко. Сама природа сделала, что это гадко. Гадость и безобразие». Обычное для Толстого смешение понятий: для природы нет ни гадкого, ни безобразного; она не нравственна. Отведя ссылку на «природу», можно отвести и ссылку на безобразие — на этот счет много полезного и глубокого сказано Достоевским. Помните Митю Карамазова об идеале Мадонны и идеале содомском: «В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет?» Здесь тоже своего рода метафизика, метафизика пола. Ведь переживания любви, соблазна, страсти ничуть не следуют из движений белков и гормонов, но только сопутствуют им. Если бы понятие красоты имело «естественное» происхождение, оно было бы всеобщим и неизменным. На деле, будучи явлением духовной жизни, понятие красоты изменчиво, подвержено развитию, и только у высших народов тяготеет к единообразию — на вершинах развития, там, где духовная природа красоты проясняется. Однако и здесь рука об руку с красотой входит соблазн — тонкий, едва уловимый яд, проходящий и через последнее сито...

Наслаждение

Этот тонкий, неуловимый яд называется наслаждением. Есть наслаждения высшие, есть низшие.

Наслаждения делятся на низшие и высшие не потому, что одни из них «безнравственны», а другие нет. Наслаждения духа — наслаждения роста и развития; низшие наслаждения имеют истребляющий характер по отношению к тому, кто их испытывает. Конечная точка низших наслаждений есть самоуничтожение; завершение наслаждений духа, если его можно вообразить, было бы трезвостью и полнотой бытия, бытием во всей его возможной мере. Можно сказать больше: дух в человеке есть то, что ищет жизни. Высшие цели духа не самоубийственны. Грешник приближается к смерти настолько, насколько пренебрегает духом, то есть ищет истребляющих благ. Стремлениями к этим истребляющим благам отмечены иные эпохи в жизни человечества.

В области чувственной любви мы грешим постольку, поскольку неспособны к чистой радости. Всё, что без радости, есть грех. Нет стыда в самозабвенных играх юношей и дев, но только там, где эти игры действительно самозабвенны. Мы грешим ровно настолько, насколько мы не дети. Что значит в таком случае «без греха»? Воздержание? Умерщвление плоти? Но дети не воздерживаются и не умерщвляют плоть, а безгрешны. Так почему же? Потому что играют и радуются; сладострастие же — возвращаюсь к тому, с чего начал — сладострастие дальше всего от игры и радости. Оно всё насквозь умышленно и себялюбиво, и к нему совершенно не подходит слово «нечаянно». «Нечаянно» и значит — без греха.

...Но вот вопрос: всегда ли чиста радость? Или, как бы спросил человек Средневековья: могут ли радоваться демоны? По внутреннему ощущению (которое может ошибаться, хотя другого руководителя в этих вопросах нет) — кажется, что радость уже предполагает чистоту чувства; что всякая темная примесь ее принижает — до степени удовольствия, наслаждения и т. д. Вот один из вопросов, на которые — так сказать, гуляя, — набрел Розанов. Вот цепь последовательных превращений: радость — удовольствие — наслаждение — насыщение — потребление... По одну сторону нет греха, по другую он есть. Если дело обстоит так, то Розанов в светлой части своих писаний не ошибался, и чисты, без всякого греха оказываются многие такие вещи, к которым мы привыкли подходить с осторожностью, как возможно опасным для души. Правда, эта безгрешность дается под трудным, почти невыполнимым условием: «Будьте как дети». «Любви, — говорил Уайльд, — достойны все, кроме тех, кто считает себя достойным ее». Нечто подобное и здесь: все радости, может быть, чисты — но только для тех, кто к ним не стремится намеренно и себялюбиво; всё хорошо, что достается нечаянно. Рай близко, — можно воскликнуть, — но и безмерно далеко, т. к. все мы привыкли «достигать желаемого», а где желаемое — там намерение, «чего я заслуживаю, то и возьму»... и рай опять далек. Мне всё кажется, что автор «Уединенного» отчасти прав, и весьма многое безгрешно и чисто, но на таких условиях, по такой цене, какой мы заплатить чаще всего не умеем: «будьте как дети».

«И всё будет свято, потому что всё будет со страхом Божиим» — в этой мысли Розанов силен, почти что непобедим. К сожалению, он не настаивал именно на этой формулировке. То, как Розанов выражался обычно, заставляло думать, что он видит святость там, где обычно находят ее противоположность. Другая же его мысль, более тонкая и скрытая под корой грубых и преувеличенных утверждений, была та, что всё свято, что делается со страхом Божиим, в том числе и жизнь пола. Не «пол свят, потому что приближает к Богу» (как выражался Розанов обычно), но всё свято, или хоть добро, что делается с памятью о Боге, в том числе и земная любовь. Так ли обстоит дело в действительности — можно спрашивать. Мне иногда кажется,

что может быть и так. При таком выражении своих мыслей Розанов из противохристианина ¹ превращается во что-то совсем другое, т. к. идеал цельного освящения земной жизни христианству совсем не чужд, хотя оно и скорбно сознаёт, что по миру прошел разлом, в нем свободно действует зло... Но и самому Розанову это выражение собственных мыслей пришло, сколько я знаю, чуть ли не однажды. Чувство и чувственность обычно вели его гораздо дальше, в область темных мечтаний.

Непосредственное ощущение таково, что где-то в глубине душа двоятся между божественным и земным, дрожит на своем корню и клонится то на одну сторону, то на другую... Как будто над ней проходит ветер. Корни «плотского», т. е. в первую очередь пола, там, в темной глубине; и для колеблемого на своем основании ростка, с которым можно сравнить душу, то «плотское», какое мы знаем, — слишком грубо и вещественно, отзвук чего-то другого в нашем более плотном воздухе. Обычная ошибка разума, если уж он признаёт какое-то значение за плотским, за полом — думать, что центр, источник ощущений находится «здесь», наверху, в играх плоти (на этом пути можно дойти сколь угодно далеко вплоть до почитания фаллоса в розановской или фрейдистской разновидности), но на самом деле всё наоборот: наше вещественное «плотское» — только отзвук чего-то гораздо более тонкого, невещественного и глубокого. В этом случае жизнь пола оказывается вещественным проявлением невещественных начал, как и — страшно сказать — наша религия. Вот камень, на котором поскользнулся петербургский мудрец. Что-то тихо звенит в глубине, мы слышим колокольчик и идем на звук, и никогда не приходим, т. к. зов идет из глубины, в которую нет пути. В этом понимании (в котором и я сам, впрочем, не вполне уверен) «пол» как приспособление для продления рода и «пол» как явление душевной жизни должны быть разделены, хотя и не до конца, п. ч. тут и там происходят смешения, дух действует в плоти, а плоть влияет на дух. Нечто подобное, кажется, защищал и Платон... Во всяком случае, для человека, в переживаниях, связанных с полом, видящего только «физиологическую» сторону, «игру гормонов» — целый ряд вопросов, ряд связей душевной жизни останется незамечен и необъясним: любовь — красота — нравственность — грех — восторг — безобразие... Для него всё это только, по выражению нашего довольно-таки бесстыдного времени, «половая жизнь», для которой проповедуются «правильные приемы». И еще больше надо сказать, еще парадоксальнее: соитие, о «правильности проведения» (т. е. обеспечении наибольшего удовольствия) которого так заботится наше человеколюбивое время, не означает еще жизни пола. Можно (воистину, теперь я говорю как Розанов) иметь соития, но не иметь притом жизни пола, а только физиологические отправления — в силу собственной незрелости, т. к. для всего на свете необходимо созреть. Это в первую очередь относится к несчастным детям эпохи безграничной «половой свободы». Всё-то у них есть, кроме Эроса и любви...

Чтобы усомниться в ценности наслаждения, одного наслаждения недостаточно. Нужна очень большая ясность сознания в сочетании с очень большой глубиной наслаждения, что не всем дается. Это как раз то, что отличает героев Достоевского. Иначе — здесь нет вопроса. Вопрос видит только тот, для кого обе бездны равно несомненны. Если же что-то одно недостаточно отчетливо в сознании, и либо пол, либо дух удастся принизить до «второстепенного» — тогда, конечно, вполне возможно сохранение нравственного равновесия, безмятежности и насмешливого или презрительного взгляда на «этих ханжей» или «этих развратников»...

Наслаждение, в самом общем смысле, есть то, что приближает нас (или нам кажется, что приближает) к полноте жизни. К сожалению, наибольшие грехи против собственной души

¹ Надо сказать, что «противохристианство» Розанова — вообще довольно особого оттенка. Он не потому выступал против христианства, что не мог его принять, а потому, что не находил в нем обители для себя и своих сокровенных стремлений. «Ты богато и хорошо, но не для меня — так пропади же ты вовсе!» Не так было бы, если б Розанов действительно нашел «новую истину», которая упраздняет все предыдущие. В этом случае к христианству он проявлял бы не более любопытства, чем Дарвин или Маркс. Но нет! Христианство Розанову не давало покоя...

совершаются в поисках полноты жизни. И вообще, греховность и эта искомая и ненаходимая полнота жизни как-то связаны. Внутренняя опустошенность невидимо и прочно связана с желанием во что бы то ни стало себя наполнить, и чем острее это желание, тем менее достойное заполнение находит личность. Судя по всему, в области полноты жизни — находит только тот, кто не ищет; отвечают только тому, кто не спрашивал. Алкание полноты никогда не удовлетворяется, вернее, чем больше желание, тем безобразнее и искаженной будет его исполнение. Почему? Я бы сказал: потому, что полнота жизни внутри нас, и всякое стремление наружу только удаляет нас от нее... Наша жизнь уже полна, во всяком случае, уже содержит возможность полноты, и только прилагая усилия нам удается от нее уйти. Многим это удастся, и тогда они ломятся обратно в двери своей души, но эти двери уже закрыты.

Дух и религия

В самой середине наслаждения мы замечаем, что наделены не только телом, но и духом. От него никуда не скрыться. У нас нет выбора, кроме как быть духовными существами. Иначе — ужас, животная тоска без животных радостей, черный бессмысленный омут... Высшие способности требуют от владельца религиозности или сумасшествия; нельзя быть «просто человеком», вернее, «просто человеком», идеалом среднего состояния человеческого, можно быть только при средних же и способностях. Где способности выше обыкновенных, там нет возможности внутреннего равновесия на такой шаткой опоре, как «здравый смысл» или «естественные влечения». Там человек узнаёт безумие «смысла» и бесцельность «влечений», хотя и не становится оттого святым, но продолжает, с еще большим жаром продолжает мыслить и увлекаться.

Дух, однако, не двухцветная шахматная доска. В области духа, кроме добра и зла, есть еще область пустоты; сама по себе она не добро и не зло, но только почва для праздности и растрения. Праздный дух ищет себе заполнения и выбирает доступнейшее; так засеиваются обширные пустоши праздных душ, и выросшие плевелы впоследствии объявляются «культурой масс» и «новым словом в истории духа»... Что дурного в невинных сорняках, в простых желаниях «есть, пить и веселиться»? В них плохо то, что эти невинные сорняки вырастают до неба, заслоняют небо и дают тем, кто в них заблудился, повод утверждать, будто никакого неба и нет. Радоваться не безнравственно, но после некоторого предела каждая новая радость для себя означает огорчение для других, т. е. радость делается-таки безнравственной; и есть еще следующий предел, за которым поиски радости начинают вредить ищущей радости душе, и если до сих пор чужая боль была для нее неслышна, теперь она познакомится с болью сама. Поиск радости иссушает источник радостей, одновременно поощряя жажду. Крайняя точка на этом пути — бесконечно жаждущий у иссохшего русла.

На духовный рост можно смотреть как на расширение области действия стыда. Детям и дикарям почти нечего стыдиться; чем выше внутреннее развитие, тем больше поводов для стыда оно дает человеку. Если общество отвергает стыд, оно стоит на пути к первобытному состоянию, каковы бы ни были его технические успехи. Однако отказаться от стыда вполне не может ни одно общество: в качестве скреп ему необходимы хотя бы некоторые служебные добродетели, без которых государство становится притоном разбойников... К счастью, стыд дольше сохраняет свое значение для личности, чем для общества, поэтому даже весьма растреленные общества могут продолжать существование, опираясь на презируемые ими чувства одиночек. Бесстыдство как господствующая идея даже предполагает, что кроме избранных бесстыдников останутся массы, приверженные устаревшим добродетелям.

Тот же Розанов, как и многие другие критики христианства, не представлял, что случится, когда устроятся из мира христианские ценности — ценности самоограничения. Хорошо и безопасно проповедовать богатство жизни и полноту желаний, словом, всяческие «по ту сторону добра и зла», живя в обществе, подавляющем и облагораживающем низменные влечения — или, избегая нравственной оценки, — все себялюбивые влечения, не имеющие в себе правды, любви или красоты. Обитая в таком благоустроенном обществе, можно видеть, если хочется, во Христе «гасителя полноты жизни»... Но нам, жертвам революции, потерявшим это устроенное общество, виден стержень, тайная основа христианских ценностей: самоограничение, без которого все безразлично стремления считаются достойными, все равно заслуживают удовлетворения. Дело не в том, что «радоваться нельзя», а в том, что радость не самодовлеющая ценность, на пути к которой можно пренебречь всем. Либо разумное самоограничение, либо «все потребности должны быть удовлетворены». Отвергая самоограничение, мы устрояем из общества всякий принудительный авторитет и всё отдаем во власть личности. В этом и состоит «прогресс в области человеческого», как его понимает современ-

ность. То, что подается обычно как просвещение, «борьба науки с верой», есть на самом деле борьба против мышления, основанного на неизменных мыслях о неизменных вещах. Важным делом почему-то считается искоренение незыблемых ценностей и повсеместное насаждение собственного мнения, при том, что в 9 случаях из 10 у человека даже и оснований нет для выработки этих «собственных мнений». Я остаюсь в убеждении, что это движение всемирной лестии личному мнению если не вызвано соображениями удобства управления человеческой душой, то привело, в конечном счете, именно к гораздо большей податливости масс. Чем больше человеческое самомнение, тем легче этим человеком управлять. Труднее всего навязать неестественные для него поступки совестливому скромнику, и не составляет труда управлять гордецом. Недавняя революционная эпоха весьма возвысила человеческое самомнение, подорвав при этом человеческую способность судить.

Полнота земной жизни, в той скудной степени, в какой она нам доступна, не дает душе удовлетворения. Двигаться дальше в эту сторону бессмысленно: впереди ничего нет. И даже там, где эта полнота земной жизни присутствует, она не означает воплощения высших ценностей, чего совершенно не чувствовал — опять я ввязываюсь с ним в спор — Розанов, живший так, как будто Христос и не приходил, как какой-нибудь ассириец или древний еврей. Полнота жизни не признак божественного ее одобрения. Лев Толстой всю жизнь метался в поисках «добра», но это было только слово, за которым скрывалось совсем не то нравственное содержание, какое в него обычно вкладывают. «Добро» это было, как отмечал Лев Шестов, на самом деле спокойствием, возможностью укрыться от ужаса и несовершенства жизни. Добро мало общего имеет с этой целью Толстого. «Как мне жить так, чтобы не испытывать постоянно угрызавшего чувства напрасности жизни», это совсем не то же, что «как мне вести себя, чтобы быть нравственным». Нравственный человек заботится о достижении определенных целей; здесь же речь шла не о том, чтобы достичь целей, а о том, чтобы их найти...

Какие ценности мы можем искать — и надеяться найти? Возможно, христианские ценности — последние ценности, которые могут быть у души в неблагоприятном для нее мире. Я даже думаю, что никакого «нового слова», никакого прибавления в области ценностей быть уже не может. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Либо мы находим наши ценности снаружи, либо внутри. Ценности побед и одолений, честолюбия и гордости — как их понимал древний мир и как понимает их современный Запад (в самой заметной и громкоголосой своей части) — все они внешние. Думаю, вне этого противостояния внешнего и внутреннего — ничего нет, разве только отсутствие ценностей вообще. Либо мы делаем нечто для себя и своей души, либо для некоторых внешних идолов, будь то слава, одобрение, могущество или сила. Здесь главное разделение. От того, какую сторону мы выберем, зависит наше представление о морали и истине. В одном случае мы признаём независимость истины и первичность нравственности; во втором — полагаем нравственным то, что ведет к успеху, и истинным — то, что дает наибольшую мощь. Мы обладаем совестью до тех пор, и только до тех пор, пока последствия поступков для нас важнее самих поступков; точно так же искреннее стремление к истине возможно только до тех пор, пока мы полагаем, что истина предшествует нашим поискам, а не творится нашим умом из ничего. В области духа нет «прогресса», но только возможность выбора и готовность следовать своему выбору до конца.

Я говорю это, несколько не сочувствуя толстовской «борьбе с плотью». Если бы духовное состояло просто в усталости от плотского, т. е. было бы выражением вроде «человек минус плоть», грош ему была бы цена. «Человек минус плоть» есть то, чем занимается современная «психология» — простая совокупность нервных раздражений... Дух — то, что выше человека, что больше суммы слагаемых, т. е. недостижимо путем простого вычитания, а именно на это арифметическое действие возлагает надежды всякая мораль, например, учение Л. Толстого. Что Лев Толстой не христианин, догадывались и его современники, несмотря на все попытки графа толковать Евангелие. Но следует сказать больше: христианство призывает ко

всяческой полноте духовной, к тому, что прямо противоположно урезанию, упрощению человека во имя морали.² Здесь коренное расхождение христианства со всяческой моралью, даже сильнее: христианство неморально, а мораль может быть христианской только в положительной своей части, в области увещаний к лучшему. Христианство принимает человека целиком, но говорит: «Смотри, не отягощай своего духа тем-то и тем-то: плохого в том нет, да душа твоя прилепится к ненужному и никогда отойти не сможет, так рабой ненужного и останется». Мораль тому же человеку кричит с порога: «Отойди, отойди, ты нечистый! Выполни сначала мои предписания, в особенности то-то и то-то, и только потом приходи, а если что для тебя непосильно, то постарайся свою слабость оставить втайне!» Весьма, весьма мало общего между христианством и моралью. Отсюда и вытекает для моралиста — возвращаясь к графу Л. Толстому — необходимость исказить Новый Завет. «Лучше с моралью, но без Бога», говорит себе закоснелый моралист, и относится к Богу с большим подозрением, именно так, как относились ко Христу древнейшие моралисты — фарисеи.

И хуже всего: никакого «выбора» между духом и плотью быть не может. В нас две природы, и корни доброго и злого равно уходят в глубину. Вопрос в том, как жить с этими двумя природами и неизменной между ними раскачкой? Человеческая душа выглядит луком, натянув который, можно послать стрелу одинаково далеко, но в разных направлениях. Доброе и злое, высшее и низшее, человеческое и животное, божественное и человеческое — как ни называй эти два порядка ценностей, они в нас укоренены равно, и чем больше порыв к одному, тем больше откат и противодвижение к другому — правда, только в одном направлении: «отдача» всегда направлена от высшего к низшему, никогда не наоборот. Только за лучшее в нас мы расплачиваемся порывами иного рода; говоря языком Церкви, соблазн препятствует только праведным делам; но праведность никогда не бывает искушением и камнем преткновения для нечестивого. Вот и всё, что мы можем уверенно сказать о нравственности. «Великие праведники и великие грешники вылеплены из одного теста», говорил К. С. Льюис. И как жить с таким знанием? «Будьте добрыми и разумными», советует нам тепловатая мораль; но нравственность неразумна, это уже очевидно — разумно всё, что угодно, только не нравственное поведение; а доброта... доброта, как показал нам Достоевский (если уж нужны какие-то свидетели) всегда сопутствуема соблазном. И снова мы возвращаемся ко Христу: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его». Это совсем, совсем не то же, что «быть разумным и добрым»...

Можно — на словах, конечно, — упразднить совсем понятия доброго и злого, правдивого и ложного, прекрасного и безобразного, «переоценить все ценности» и стать «по ту сторону добра и зла», но только на словах. Эти категории не плод нашего воображения, они существуют в действительности, и доказательство тому их несмешиваемость. Объявите равно достойным прекрасное и безобразное, истинное и ложное (как это делает демократия, для которой это всё только «мнения») — и установится не равномерная смесь того и другого, как можно было бы подумать, но чистое, откровенное безобразие и ложь. На словах можно отказаться и от правды, и от красоты, но последует непременно расплата: торжество ложного и безобразного. Это факт, не предположение; можно только по-разному истолковывать этот факт. Во-первых, можно сказать, что зло и безобразие суть естественные, природные ценности, к которым возвращается «освобожденное» человечество. Можно сказать и так, что правда и красота суть ценности роста, труда и усилий, недоступные праздному, безответственному и себялюбивому уму. В настоящее время безусловно господствует первое объяснение. Если Вл. Соловьев иронически выражал нигилистическую веру словами: «Человек произошел от обе-

² Не говорю о средневековой Церкви с ее требованием печальной сосредоточенности, из отрицания которой вышло розовощекое и самодовольное общество современного Запада. Это была односторонность, наказанная, как всегда бывает, другой односторонностью. Мир не стал монастырем, но в наказание за эту попытку на наших глазах приобретает черты веселого дома.

зьяны, следовательно, будем любить друг друга», то теперь молчаливо подразумевается гораздо большее: «Человек — злобная, лживая, жестокая, похотливая тварь, следовательно, его ждет блестящее будущее». Формула эта, однако, настолько лжива, что даже на легковерном Западе наших дней охотнее верят в близкий конец света, чем в это блестящее будущее...

Такой «символ веры» не в силах долго просуществовать. Поклоняться злу во всех его проявлениях, т. е. в конечном счете — назовем вещи своими именами — сатане, хорошо только в благоустроенном и спокойном государстве, наслаждаясь жизненными удобствами и покоем. Беспокойный интерес ко всему извращенному, дурному, жестокому, который мы наблюдаем в странах победившей свободы, говорит о крайней пресыщенности ее сугубо материальными дарами. Но положение материального изобилия при крайней духовной бедности³ не будет вечным, да что там — не будет даже достаточно долгим. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать остановку колеса производства и потребления, которое с таким шумом и блеском вращается на современном Западе, восхищая наших неразумных соотечественников... Хорошо быть дурным от скуки, безделья и избытка благополучия. Но что-то говорит мне, что избыток благополучия у тех народов, которые сегодня желают быть водителями человечества, будет недолог.

Вопрос о том, почему в мире существует зло, занимавший столь многих философов, кажется второстепенным. Злом мир стоит и злом подпирается, что же еще спрашивать? Гораздо более любопытно, на мой взгляд, то, что при всей удобопревратности мира ко злу — в нем есть добро, и это добро неуничтожимо. Здесь я вижу настоящий вопрос. Трудность не в том, как примирить всеблагого Бога с неблагим мирозданием, т. е. создать «теодицею», трудность (или, скорее, радость, раз уж мы смотрим на дело с противоположной стороны) — радость в том, что в подвластном злу мире постоянно присутствует добро, гонимое, угрожаемое, но не выводимое из мира никакими усилиями зла. Мало кто занимается сегодня теодицеями, зато почти все убеждены в том, что зло есть почва и дом человеческой души, а если и не зло, то неморальное природное существование, состоящее в пожирании слабых сильными, которое отличается от зла одним названием. Таким образом, вопрос о «теодицее» — примирении идеи всеблагого Бога с видимой властью зла — на глазах сменяется другим вопросом: о всемогуществе зла и призрачности мирового добра. Продолжая линии рисунка, мы должны сказать, что впервые в истории мысль задалась доказательством всемогущества сатаны, и само «заинтересованное лицо» (как говорил Вл. Соловьев об Антихристе) предъявляет всё новые доказательства своей власти. При так поставленном вопросе наличие и неуничтожимость добра в мире выглядят очень добрым признаком, пусть даже нам и приходится представить себе борющегося Бога — образ, который не приходил на ум средневековью (с его

³ Кстати, о духовном и идейном. В современной России, кажется, многие верят в то, что защитой от западного материализма может быть видоизмененная или восстановленная в полной мере идейность революционных времен. Это не так. У многих ценностей есть свои низменные двойники — Афродита Урания и Афродита Пандемос, и так далее... Двойник духовности — «идейность». По видимости они похожи: и тут, и там приверженность невещественному, противостояние грубому материализму. На деле история, и история русской интеллигенции в первую очередь, свидетельствует о том, что духовность и идейность различны до противоположности. Различие видно даже из словоупотребления: есть «жизнь духа» — и «служение идее». Одним живут, другому служат. И тут, и там, однако, возможно пренебрежение материальными ценностями, только в одном случае ради внешнего идола, а в другом — ради собственной души. С. Булгаков в очерке «Героизм и подвижничество» описал это внешнее сходство при внутреннем различии, мы же знаем о предмете больше. Коммунистическое правление в России поощряло как раз всяческий героизм ради навязанных личности идиологов; самоотвержение до гибели, глубоко отличное от самоотвержения для спасения души. «Ты погибнешь; все погибнут; так лучше погибнуть, послужив мне!», говорил идол Революции... Души миллионов ввергались в огонь, но не ради очищения, как это бывало в человеческой истории, а единственно с обещанием последней смерти. Трагедию «советской власти» можно понять только религиозно. Это была земная религия со снижением всех понятий, божество которой воплощалось в государстве, праведность — в служении государству, грех — вслушании; рай не обещался вовсе, а ад был всегда в избытке. Вернее сказать, рай обещался сугубо чувственный и посясторонний, сначала скорый, а затем всё более отдаленный во времени... Идейность, свойственная русской интеллигенции от Писарева до Ленина, — не оружие против идущего с Запада потребительского материализма, именно потому, что она сама была насквозь материалистична, верила только в земную силу, в первую очередь — силу государственного принуждения.

приверженностью неподвижным формам) и новому времени (с его страстью к оптимистическим построениям)⁴. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» — пожалуй, лучше эту мысль не выразить.

⁴ В области мысли мне, честно говоря, не нравятся ни оптимисты, ни пессимисты. Пессимисты, те откровенно в Бога не веруют, а оптимисты склонны Бога подменять собственным разумом, на который и надеются. В конечном счете, те и другие похожи. Трезвый взгляд на вещи – нечто среднее: «тут Бог, может быть, нам поможет; тут, может быть, и наших сил хватит; а тут всё гадательно и предоставлено неизвестности и свободе...» К построению систем, замечу, склонны пессимисты и оптимисты равно, но никогда – люди среднего взгляда.

Мораль и современность

«Мораль» (не как внешний свод правил, но как наше внутреннее отношение к вопросам добра и зла) переживает сейчас не лучшие времена.

Если прежде говорили «добро и истина», то в понимании современной эпохи истина совершенно отделилась от добра. Добро терпимо только в области пожеланий, даже не как этическая категория, а как совокупность благ и удобств. Готовы признать, ищут только внеморальную истину, которая бы ни к чему не обязывала и ничего не значила для сердца, и более того — верят в то, что только внеморальной истина и бывает. Выхода из нынешнего положения два. Либо нам следует расстаться с добром, как оно проявляет себя в повседневной жизни, и ограничиться одними удобствами и прибытками, ведь на «внеморальных истинах» никакое добро основываться не может — либо отстранить эти безразличные, если не прямо опасные «истины», так ценимые эпохой, обратиться внутрь себя и искать иных истин, на которых могло бы основываться наше существование именно в качестве человеческой жизни, а не потребления и производства благ... Всем сторонникам первого пути я скажу, что они готовят холодный, очень холодный мир, в котором человеческая жизнь, любовь и надежда недорого будут стоить, в котором человек большую часть жизни будет чувствовать себя уже мертвым, и от ледяного чувства смерти сможет защищаться только всё новыми чувственными удовольствиями, доходя до самых безобразных. Вы создадите, вы создаете уже сейчас великую пустоту в душах, которую нельзя будет заполнить никакими бреднями о «могуществе человека» и «покорении природы». Коллективное «всемогущество» человечества мало будет значить для пустой скорлупки не наполненной ничем личности, которую создаст — и уже создает — переворот, уничтожающий великие человеческие ценности. Всё станет «ни для чего» на свете. Опустошенный мир будет жаждать смерти или смысла жизни, смерти или веры — к этому вопросу всё сведется, когда и последние удовольствия будут испытаны, и последнее удовлетворение будет получено...

Мир — благополучная его часть — примеряет на себя демоническое мировоззрение. Обостренный интерес к чужим мучениям и собственным удовольствиям, так это мировоззрение можно определить. Любопытство к демоническому в европейском искусстве не ново. Еще Байрон и наш Лермонтов наряжались в черный плащ... Но это был демонизм пресыщенных одиночек, тогда как мы наблюдаем, едва ли не впервые в истории, демонизм масс. Демоническое начало в наше время ощущается явственно и повсюду, в культуре для масс — в особенности. Воспитывается личность холодная и сосредоточенная на себе самой, избегающая боли и склонная при случае причинять боль другим — то есть, в сущности, обыкновенный демон, как ни странно это звучит; демон в христианском понимании этого слова. Среди качеств призываемого нового человека я забыл упомянуть постоянный, неутолимый интерес к жестокости, насилию, убийству и всяческим мучениям — конечно, когда речь идет о других.⁵ Воспитывается неутолимая жажда ужасного, которая, однако, прикрывается именем «интереса к жизни, как она есть, без прикрас». Народ, де, нельзя оставлять в неведении, надо говорить ему правду — и сообщают народу избирательно, по крупницам собранные сведения, сосредотачивающие внимание на одном только страшном, отвратительном, безобразном. Тысячи глоток и перьев, повинувшись могучей руке, заманивают массы в трясину «действительной жизни», в которой нет ни света, ни радости. Я не могу найти другого слова, кроме слова «дьявольский», для замысла загнать людей в мир ужасов и темных удовольствий, и желал бы ему неуспеха... Но дело зашло

⁵ И я даже догадываюсь, насколько можно об этом догадываться, кто такие настоящие демоны по ту сторону мира. Это те, кто уже здесь непомерно жаждал и никогда не мог насытиться удовольствиями; они продолжают жаждать и там, а утоляем их жажду мы. Воронка, всасывающая наслаждения, от невинных до самых безобразных — вот что такое демонический человек или дух. Ему всё мало, и он убежден, что ради утоления жажды ему дозволено всё...

слишком далеко. Европейское человечество никогда не было так безоружно против дьявола и тьмы, как теперь, когда оно вполне утратило представление о Боге и свете. Кто же теперь верит в Бога? Но отворачиваясь от Бога, человек поворачивается к дьяволу, и это совершенно независимо от того, что он об этом думает.

Как странно непонимание нашим временем той простой истины, что возможны, как устойчивое состояние, либо человек духа и совести, либо свинья. Переходная ступень между ними, выведением которой так гордится эпоха — только нежизнеспособная помесь, которая не сохранится в потомстве. Хорошее в этом человеке существует еще, а дурное (и очень дурное) — уже, да и было от начала. Мир спасается от общего скотства только постепенностью перемен. Череда всё менее нравственно пригодных поколений воспитывается день за днем, и мы не видим непосредственного перехода от благовоспитанного, но уже нравственно потерянного Ивана Федоровича Карамазова к Смердякову только потому, что этот переход растянут на десятки лет. Смысл эпохи весь выражен Достоевским. Где «Бога нет» — там «всё дозволено», где всё дозволено — там скот на месте человека. Чем вас надо бить, как наказывать, чтобы вы поняли великую силу ограничения во всём, кроме жажды лучшего?

В сущности, весь великий переворот в области нравственного, совершенный в новейшее время, и которым мы обязаны т. н. «научному мировоззрению», свелся к уничтожению оценок и проповеди бескачественности вещей. Одним из главных последствий стало упразднение стыда — по меньшей мере, создание для среднего человека возможности не стыдиться вовсе. Совесть была обезврежена и приведена к молчанию. Не стало ни постыдного, ни противостественного, ни, тем более, душевредного — с этой категорией удалось покончить раньше всего, — но только «естественное». И дьявольский смысл этого переворота, иначе его не назовешь, был в том, что по истечении недолгого времени одно только прежде постыдное, душевредное и низменное и стало считаться «естественным». Упразднение нравственных оценок привело к исчезновению самих оцениваемых качеств — а именно, высших и положительных. Отказ от суждений о добре и зле оказался отказом от добра как такового. Ожидали, конечно, совсем не того: думали, что добро и зло — только произвольно даваемые имена, таблички, которыми человек украшает мироздание. Оказалось же всё совсем не так. Оказалось, что добро проявляется в жизни ровно настолько, насколько мы умеем его распознавать, его почитать и ему поклоняться, и отказ от нравственных суждений не просто «освобождает» человеческую волю, но освобождает ее на пути к чистому злу. Вот что означает великий нравственный переворот, совершенный людьми научного мировоззрения и демократических убеждений. Признание равных прав за дурным и добрым (основное верование современной демократии) ведет не к «свободному их соперничеству», а к откровенному и наглому торжеству дурного, потому что какое же может быть «свободное соперничество» со злом?!

Нельзя не подумать, что в наши дни чья-то невидимая рука ведет человечество к примирению со злом и символами его. Я имею в виду, конечно, западное человечество и примкнувшую к нему Россию. Противники, с которыми пришлось столкнуться Западу в последнее столетие, по-прежнему остаются пугалами для детей, но не потому, что они служили злу, а потому, что восставали против Запада. Готовится какой-то еще невиданный союз человечества со злом, которое прежде, являясь на землю, всё-таки оставалось чужаком и насильником... «По ту сторону добра и зла» вырос чудовищный цветок: новая нравственность, выражаемая словами: «Зло есть то, что мешает мне победить моего врага». Сила стала на место Бога, и гордость — на место совести. Культурные ценности прошлого признаются в таком ограниченном размере, который делает их не более чем любопытными безделушками, не имеющими никакой пользы в оружейной мастерской, в какую всё более превращается мир. И это движение, как мне кажется, неотклонимо. Большой корабль труднее перевернуть, чем маленькую лодку, но этот корабль уже лежит на боку. Чего же требует эта эпоха от нас? Деятельности? Борьбы? Думаю, что нет. В силу своей несчастной приверженности к большинству голосов как последнему доказатель-

ству, она беззащитна перед злом, которое этим большинством уже успело заручиться. Нет, в нынешних поколениях еще не все поддались — но ведь их и не спрашивают. Демократия в том и состоит, чтобы важнейшее решалось втайне, а второстепенное выносилось на общий суд. Понятия о добре и зле живучи, но даже они не устоят перед сменой поколений и всё более и более могущественной проповедью силы и удовольствия — мелкого самобожия, в котором всё решительнее угадывается бесовство.

Стоит еще сказать, что демонизм прошлых веков был демонизмом действия. Демократия, с ее понижением способностей и расширением возможностей, вырабатывает демонизм потребления. Вообще поощряются бездеятельные страсти и бездумные познания, т. е. такие, которые не требуют никаких усилий от личности, ничем не заставляют пожертвовать, даже просто не требуют напряжения сил... Если интеллектуальная верхушка современного общества отвергает христианство сознательно, как ненужное для себя бремя ответственности, то пасомые массы принимают отсутствие нравственных ценностей, духовную пустоту за данность. Атеизм владеет массами по причине их безразличия, а не сознательного выбора. Выбор сделан меньшинством, умственной элитой, которая открыто поставила гордость и силу выше смирения и ответственности.

II. Творчество. Искусство. Мысль

Всё недоступное прекрасно, всё прекрасное недоступно. Жизнь выходит из непостижимых основ и стремится к неприступным целям. Пока мы в этой жизни, нам доступны не начала, но представления о началах; не концы, но только пределы стремлений, дальше которых нельзя зайти... Всё загадка и темнота, и в том же время в себе самих мы чувствуем свет и ключ к мировой темноте и загадке. Так становятся поэтами и философами: от двойственного чувства внутреннего света и окружающей темноты.

Как поэзия, так и философия — не обязательно то, что «напечатано в книгах» и наполняет библиотеки. По меньшей мере, не всегда. Почти каждый человек носит в себе свое понимание мира, свое понимание поэзии. Но эти понимания почти никогда не выходят за пределы породившей их жизни. А в неблагоприятные эпохи и выработанные, продуманные понимания мира, сочетания образов — остаются вне письменной литературы и за пределами библиотек.

Мы пишем и говорим, безусловно, для себя. Если нас окружает культура — как среда, в которой могут обитать мысли, — то наши слова могут передаваться другим, и иногда бывают поняты. Но этой благоприятной среды могло бы и не быть, я думаю даже — ее уже нет; слово не обесценивается этим. Как внутренняя человеческая способность, речь остается всегда с человеком и продолжает его отличать от зверей — даже и на безлюдном острове. Мысль ныне попала на такой остров, и ей остается либо умолкнуть, либо признать свою ценность достаточно большой даже и в отсутствие способных оценщиков, вообще без оценщиков, на полном безлюдье... и продолжать свой как бы бесполезный труд.

Говорить — малоценное искусство, прекрасное только тем, что знакомит нас с искусством жить и испытывать счастье. Подозревает ли писатель, выходя на свою дорогу, что достигнет однажды состояния, когда хорошее о себе перестает радовать, а в плохое не верится, потому что знаешь о себе гораздо больше хорошего и дурного, чем кто-либо посторонний? Вес одобрения, вообще ценность стороннего мнения страшно преувеличивается людьми, которые берутся судить об этом вопросе. «Вы написали хорошую книгу», говорят писателю. Но он знал об этом в те самые минуты, когда писал ее; что он может услышать нового? «Неотвратимые внутренние вопросы», о которых говорил Гоголь, не отменяются ничьим одобрением. Есть, однако, еще счастье признания; но тому, кто давно уже признал себя, оно бесполезно. Тому, кто занят бесконечным разговором со своей душой, все остальные разговоры кажутся ничтожными.

«Рукописи не горят» — благородное самоутешение. Мысль, разлученная с читателем — бессильна. Книга есть земное убежище мысли, в котором она переживает неблагоприятные времена, чтобы сохраниться для других поколений, а чтение — самый распространенный способ общения с духами; ведь большинство писателей находятся уже за краем мира, так что литература представляет собой самое обширное завещание. Всякий читатель — немного чародей, немного заклинатель умерших. Чтение принадлежит к разряду обиходных чудес.

Вдохновение. Творчество

Что такое творчество? Отбросим все, что мы о нем слышали, прислушаемся к собственной душе. Что она скажет нам? Не является ли творчество, например, скрытым стремлением к власти, к успеху? Не трудится ли творец ради власти над своим творением? Несомненно, послушность материала под руками творящего служит поощрением для этих рук. Сладко вообще налагать свою волю на вещи; в этом смысле никакое человеческое дело не обходится без «воли к власти»... И в то же время, творчество — не только дело воли и власти, но и дело отцовства и снисхождения. Всему творимому творящий — отец, к нему он снисходит с любовью и желанием увидеть свое подобие... Творчество во всех его проявлениях есть поиск и созидание зеркала, в котором бы отразился творящий, но зеркала живого. Смысл творчества можно определить как постепенное одушевление мира, начиная с самого акта творения; человек тоже ищет, кому передать свою душу, и передает ее камню, и книге, и собаке, насколько он хочет и может творить.

Творчество начинается не с «я хочу», а с чего-то иного: с вдохновения. Только те слова имеют цену, которые находятся в противоречии с волей говорящего, или по меньшей мере для него неожиданны. Смысл творчества в извлечении ценностей из ничего. Произведение должно быть заранее неизвестно творцу, чтобы быть успешным.

Здесь камень преткновения для материальных объяснений творческого труда. Труднее всего приходится атеизму, когда он встречается с вдохновением. «И я ничтожество, — говорит человек вдохновения, — но я знаю своего Бога. Он говорит моим голосом, и как бы ты ни убеждал меня в необходимости любить одного себя, я знаю, что без Него я ничто. Я — сухое дерево, только удар молнии меня делает факелом». На канве вдохновения можно вышить любой узор; однако не только мы, но и книги созданы «из того же материала, что и сны». Они так же сшиты из облаков вдохновения; сюжеты и идеи только скрепы для этого материала. Если бы все создания мысли Достоевского остались в черновиках, не воплотились в романы, они потеряли бы форму, но не ценность.

Вдохновенный автор, по общему мнению, обличает собственную глупость или незнание жизни. Принято считать, что жизнь не стоит вдохновения, а если и стоила, то когда-то прежде. Современность ставит себя выше жизни, т. е. выше размышления, вдохновения и творчества; она жизнью пользуется, но не видит, о чем тут размышлять. «Был человек и нет его; живи, пока жив».

Такое мировоззрение не питательно для творца. Непременное условие творчества — уверенность в том, что всё происходящее не является единственной и последней действительностью. Творцу для успеха творчества нужно верить в свое бессмертие или по меньшей мере не бояться смерти, иначе его произведения не переживут создателя. Временное не создает вечного. Поклонение факту, то есть видимой действительности, воспитывает людей дела, но не творцов. Искусство не существует отдельно от веры в бессмертие души.

Поэзия — вечный и самый очевидный для нас образ вдохновенного творчества. Поговорим о поэзии. Что ее отличает от, скажем, сочинения газетных статей?

Поэзия есть искусство сосредоточенного невнимания. Почти банальностью будет сказать, что поэт не должен видеть ничего из того, что видят все, чтобы заметить нечто, никому не заметное. Поэзия — искусство извлечения великого — не обязательно из ничтожного, но из наличного (ведь повседневное — не обязательно ничтожное; повторение не умаляет величия). «Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, — говорил Господь ветхозаветному пророку, — то будешь, как Мои уста». Таков и поэт. Если волшебство есть достижение цели путем напряжения воли и произнесения особых слов-заклинаний, то поэзия его непосредственная

наследница. Особым состоянием духа и необыкновенными словами она делает золотым «сор жизни». ⁶

Платон говорил, что душа состоит из мудрой и яростной частей. То же самое можно сказать о поэзии. В ней обязательно должен быть ум и должна присутствовать ярость, то есть соединение любви и отчаяния, с которым бьются за свое дело те, кто в него верит.

Поэзия — средство приобщения к чужому вдохновению, хотя и неполное. Только в этом ее обаяние. Она дает каждому почувствовать хотя бы часть движения и огня, какие знает по-настоящему вдохновенная душа. Потребность в поэзии потому — потребность трансцендентная, метафизическая (как и подлинная, столь редкая в наше время, потребность любви). «Трансцендентно» ведь всё, что выводит душу за ее пределы. Поэзия рассказывает душе о том, что ждет ее за краем повседневного... Только великий народ, то есть не вмещающийся в исторической действительности, может любить поэзию. Только та нация в ней не нуждается, которая может вполне вместить себя в наличное существование; которой не тесно под солнцем и луной; поэзия, как и религия, выражает те стремления, которым не хватает места в исторической вечности. Пристрастие к поэзии — мера одушевленности и религиозной способности; вовсе не случайно Библия дает высшие образцы поэзии. Поэтическая жажда, как и религиозная, усиливается по мере осознания невозможности ее утоления, и ведет душу в ту область, где все ее знания о возможном и невозможном бесполезны; где только те истины годны, что добываются не из источников разума или восторга (т. к. восторг, как отмечалось еще Пушкиным, не источник вдохновения; вдохновение неразумно, но притом и не восторженно)...

Истинная поэзия должна быть безжалостна: чувственна и одновременно жестока; неразбавленная сладость вредит ей. Лучшая поэзия представляет собой только дуновение, как и всякое высокое движение души... Ни истина, ни справедливость, ни любовь не встречаются в мире в избытке, не в виде дуновения свыше; истинная поэзия им обязана следовать. И Ницше призывал говорить истину возвышенно и цинично...

Поэзия — соединение трудносоединимого. Когда страшно и грустно вместе — это поэзия (как мысль о смоле давних деревьев, которая стала янтарем); в страшном и грустном по отдельности нет ничего поэтического. Навсегда ушедшее, к стати, вечный источник поэзии; настоящее редко бывает поэтично, совсем редко — будущее... Вдохновляющие романтизм развалины и останки больше говорят воображению, чем уму. Действительность почти никогда не обращается к самому действенному и сильному чувству невозможного; человека же, как сына Божия, привлекает — почти исключительно — не созданное и имеющее быть, в том числе то, что может быть вызвано к жизни только воображением.

Поэт может сказать: мы идем по следу и видим везде отпечатки, но тот, кто их оставил, невидим. Искусство есть погоня за осязаемым образом невидимого, за выражением в словах того, что словами передано быть не может. Только то, что нельзя выразить словами, и составляет предмет литературы. Когда писатель говорит о «звездной ночи», он имеет в виду не светила, которые изучает астроном, но звездный трепет и многоочитый ужас, словом, «чувство звездного неба», о котором упоминает Набоков. Поэтому поэзия — острие стрелы, называемой литературой. Поэзия ничему не учит. Ее смысл в непосредственной передаче опыта жизни.

Передавая этот опыт, творчество делает необыкновенные вещи из обыкновенных. У него обычно есть состав и основа. Сплошь новое, бесосновное творчество было бы прежде всего никому не понятно, даже если предположить способного к нему гения. Искусство и мысль обречены на укорененность в существующем; они не могут переменить своих предметов, разве только переменятся сами предметы. Новым в искусстве может быть только отношение к содержанию, то есть внешность.

⁶ Слова, которые я бессознательно похитил у Набокова. Поэт в «Даре» испытывает жалость «ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, королевского опыта, становится чем-то драгоценным и вечным».

Творчество есть свет, озаряющий душу изнутри. Трудность не в том, как его получить, так как этот внутренний свет дается даром, трудность в том, чтобы сохранить его. Внутренняя веселость, легкость, даже легкомыслие нужны для того, чтобы придавать значение не давящей действительности, но легким, почти призрачным созданиям своей души. Жить, просто приняв в себя действительность, невозможно. Напротив, нужно наполнить действительность своей душой. Положительное знание о мире есть всегда только знание о том, чем вещи не являются. Перечисляя отличия и признаки, оно не касается сущности — то есть смысла — предметов, поэтому единственный источник душевного богатства, творчества и всякого добра находится не снаружи, но внутри человека. Знание о привычках вещей никого еще не обогатило, не ободовало и тем более не сделало способным радовать других... Да оно еще и обманчиво, так как соблазняет исследователя почувствовать себя творцом, тогда как он только наблюдатель. Внешний мир, вообще говоря, случаен, он мог бы быть и иным, следовательно, нелепо к нему приспособляться и в нем искать утешения. Искусство жизни не в том, чтобы поставить в новое сочетание данные от века внешние вещи, — пусть этим занимается техника, — но в том, чтобы придать своей душе определенное положение относительно внешних вещей и сохранить его без смущения до конца.

В глазах общества всякий творец безумен, и хорошо ему, если он сумеет это безумие скрыть. Творец посягает на самое святое предание: на успокоительную убежденность в том, что большинство всегда право, — ложь, которая только и обеспечивает уютное существование всякого множества. Победившей силе обязательно нужно найти вескую, независимую от нее самой причину своего торжества. Самооправдание есть занятие сильных. Слабость, неуверенность, болезнь ищут, как бы уцелеть, — силе нужно оправдать себя и завоеванное положение. Небогатая смелостью, она всегда удивляется бесстрашию бессильных. Так один тиран ценил непокорных ему поэтов.

Наше время преувеличивает значение «искренности» в поэзии. Однако искренность не заменяет дарования. Дарование, больше того, умеет быть холодным, то есть как бы неискренним. Способность быть холодным, говоря об огненных предметах, можно счесть признаком настоящего дара. Дар умеет отделять переживание от изъяснения; первое требует внутренней теплоты, второе — спокойствия и ясности. Пушкин отделял вдохновение от восторга; Ходасевич, последний из больших русских поэтов, даже предлагал отказаться от имени: «вдохновение», по всегдашнему смешению этого состояния с восторгом... И всё же вдохновение есть. Смешение вдохновения с теплотой чувств — опасность молодости. Юноше следовало бы заниматься жизнью, а не искусством, потому что последнее нуждается в мудрости. Нужно сначала понять, что жизнь, как ты мечтал о ней, не удалась, а потом уже заниматься искусством...

Поэзия редко сочетается с удачно сложившейся жизнью. «Испепеляющая жизнь, — говорил Ходасевич, — более всего ценится в поэте». Сколь много душевредных истин поэт встречает только потому, что недостаточно осторожен; при большей любви к себе он был бы добродетельнее и невежественнее. Но истина жжется, истина вредна для души и в руки спокойным, рассудительным и добродетельным не дается. Чтобы узнать о человеке чуть больше, нужно отдать или спокойствие, или доброе имя, или спокойствие и доброе имя вместе. «Неужели многие и великие грехи влекут ввысь? — Совсем напротив».

Причина в ином. Одиннадцатая заповедь поэта говорит: всякое удовлетворение, находимое помимо творчества, безнравственно. Будь чем хочешь, делай, что хочешь, но твори. Малодушие поэта (под которым я, как всегда, имею в виду человека творчества вообще) и состоит в том, что он берет первую часть этого правила: «делай, что хочешь...» без второй: «...но твори». В этом сущность не только творческой, но и всякой иной свободы. Никто не выше нравственности, но всякий за свою свободу должен платить, платить — и поэт за нее платит творчеством, в огненной печи которого он сжигает свою душу.

Поэзия — и всякое вдохновенное творчество — строится из самого личного, внутреннего материала. Самые личные переживания и есть самые общечеловеческие. Очищенные от всего случайного, обычно и называемого «личным», они говорят о душе, а не о житейской пыли, в которую эта душа погружена. Живописцем таких переживаний был Достоевский, которого, однако, не принимают люди, требующие от литературы «картин». Ничего «картинного» в описании душевной жизни нет, но красота — красота пламени, с которым только и можно сравнить внутреннюю жизнь духа, — в них присутствует. Душа подобна именно пламени; Ходасевич верно сказал о ней: «Живу, а душа под спудом, каким-то пламенным чудом, живет помимо меня».

Что такое «душа»? Можно ли ее увидеть? Тем не менее, именно к ней мы склоняемся, как к источнику творчества. Важнейшее место в духовной жизни человечества занимает поэзия, как знание о том, чего знать нельзя. Перед поэзией должны склониться умения и науки, потому что устранить из бытия смерть никакая наука не может, а поэзия и смерть, и тревогу, и опасности объясняет, им придает смысл и лишает их жала. Наука не входит в число жизненных человеческих потребностей, а поэзия входит. Наука роскошь, а поэзия хлеб, потому что ни сражаться, ни трудиться, ни любить, ни умирать без поэзии, то есть без правды, — нельзя, а без науки — можно. Может быть, настанет день, когда наука победит правду. Тогда жизнь человечества будет объяснена до конца — и лишена смысла, так как смысл жизни выше всей совокупности ее механических причин.

Поэт (если хотите, подберите любое другое слово) отличается от обыкновенного человека тем, что не останавливается там, где останавливается обыкновенный человек. Он ничего не делает вполовину — за это его называют «человеком страстей». Благовоспитанность же требует останавливаться на полпути, чуть-чуть любить, немножко ненавидеть, слегка страдать... Кто следует этим правилам, тот исполняет свои обязанности перед обществом: он не бывает ни счастлив, ни несчастлив, но зато не делает ни счастливыми, ни несчастными других. Он безопасен, а что же еще требуется? Общество ищет безопасности, душа — счастья, но общество сильнее.

Творцу мало высказать правду, нужно еще и высказать ее сильно и ясно, чтобы каждое слово не только было, но и звучало правдой. Темно выраженная правда, косноязычная правда — бессмыслица, сочетание несочетаемых понятий. Что истинно, то хорошо сказано; запинаясь только ложь. Однако есть и обратное движение: ложь также стремится если не к ясности (это для нее недоступно) и не к красоте (и здесь мировой порядок беспощаден), то к величию. Величественная ложь имеет большее действие на умы и начинает нравиться самой себе — ложь очень шепетильна и прежде всего хочет нравиться, здесь ее большое отличие от житейски неопытной правды, которой в общем-то безразлично, что о ней подумают.

И надо помнить: способность к творчеству и способность к умственному труду — две разные вещи. Всё годное и долговечное и правдивое в мире создается творчеством; умственный труд занимает в жизни подчиненное, служебное место: он не ставит задачи, но только разрабатывает уже поставленные. При этом ум завидует творчеству и всячески подделывает плоды своей трудной работы, добываясь их сходства с легкими и своевольными произведениями творчества. Известная, если не преобладающая, часть философии состоит как раз из плодов натужных размышлений, имевших в основе всё, что угодно, кроме вдохновения. Ученый — тип человека умственного труда в чистом виде: он трудится над фактами, но не создает фактов, тогда как творчество на каждом шагу создает новые факты человеческого существования, и постепенно из совокупности этих фактов складывает культуру. Творчество выкладывает камни в стену — ум разнимает стену на части и изучает отдельные камни; он оказывается удивительно беспомощным, когда сам берется за непривычное дело строительства, даже если предварительно избавится от соперников, как Платон, который не прежде принял за идеальное государство, как удалив из него поэтов.

Поэты мешают строителям всего «положительного». Потому уже, что книги создаются из материала неутоленных желаний. Если бы всякое движение души находило себе законченное и полное воплощение, мир был бы иным и, кроме прочего, в нем было бы гораздо меньше произведений искусства, которые — по большей части — питаются неутоленными стремлениями. В чем разница искусства и науки? Искусство говорит о том, чего жаждет человеческая душа; наука — о том, что она находит в мире и чем обладает. Истина, на мой взгляд, находится в области душевной жажды: чего нам наиболее остро не хватает в мире, то и правда; то же, чем мы обладаем, — только факты, у которых нет никакого нравственного значения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.